

Быть мне президентом или не быть, и если быть — то каким

Трактат о власти, свободе и о том, как остаться собой

«Гляди, не оцезарись, не пропитайся порфирой — бывает такое.»
— Марк Аврелий, «Размышления», VI.30, пер. А. К. Гаврилова (ancientrome.ru)

Пролог. Лампа на рассвете

Есть особый час — между ночью и утром, — когда лампа на столе ещё горит, но уже не нужна. За окном светлеет, и пламя её становится бледным, почти стыдливым: оно сделало своё дело, оно вело сквозь тьму, а теперь мир обходится без него. В этот час лучше всего думается о вещах, которые при дневном свете кажутся слишком большими, чтобы их трогать, а в полной тьме — слишком страшными.

Я сижу за этим столом и думаю не о власти. Я думаю о себе. Точнее — о том, останусь ли я собой, если возьму власть.

Это не речь. Мои речи я обещал писать сам, своей рукой, без машины (слово-президента.рф). Это исследование природы вещей — то, что в старину называли трактатом. Здесь я позволяю себе обобщать чужие мысли с помощью разума, и моего, и машинного, потому что речь идёт не о том, чтобы кого-то убедить красивым словом, а о том, чтобы самому увидеть ясно. А чтобы видеть ясно, нужны проверенные факты, выверенные цитаты и честность, доходящая до неудобства. Если мысль притянута за уши ради красивого вывода — она не стоит лампы, которую жжёт.

Поэтому условие у этого текста одно, и оно жёсткое: ни одного придуманного слова, ни одной подтасованной цитаты, ни одной натяжки. Где я не знаю — я говорю, что не знаю. Где великие противоречат друг другу — я не примиряю их насильно. Жизнь противоречива, и честный текст о ней обязан остаться слегка противоречивым тоже. Без вранья самому себе. Каждую цитату ниже я сверял по первоисточнику; там, где я сокращаю, я ставлю отточие, а где спорна сама атрибуция — оговариваю это прямо в тексте.

Вопрос вынесен в заглавие, и он гамлетовский по форме. Но за гамлетовской формой прячется не гамлетовское содержание. Гамлет спрашивал, жить ему или умереть. Я спрашиваю иное: если я возьму на себя власть над согражданами — то есть заберу у них часть свободы, ибо всякая власть это и есть отнятая у кого-то свобода, — останусь ли я тем, кто я есть? Можно ли быть президентом и не перестать быть писателем, поэтом, человеком, который по природе своей не выносит насилия?

Это и есть настоящий вопрос. Не «брать или не брать», а «как взять и не пропитаться».

Глава первая. Где я сейчас стою

Прежде чем спрашивать, куда идти, честно опишу место, на котором стою. Без этого любой разговор о будущем — побег от настоящего.

Я — писатель и поэт, человек, для которого слово есть способ существования, а не инструмент влияния. Я привык, что мой суверенитет — внутри: я никому не даю отчёта, кроме совести. Это пушкинская позиция, и я узнаю в ней себя дословно:

«Никому / Отчета не давать, себе лишь самому / Служить и угождать; для власти,
для ливреи / Не гнуть ни совести, ни помыслов, ни шеи...»
— А. С. Пушкин, «(Из Пиндемонти)», 1836 (ilibrary.ru)

Вот моя исходная точка. Человек, который дороже всего ценит «иную, лучшую свободу» — свободу не гнуть шеи. И этот человек думает о том, чтобы взять власть, то есть встать ровно туда, где шеи гнут другие.

Уже здесь — первый разлом. Я его не заглаживаю. Я ставлю его в центр.

Откуда вообще явилось это желание — взять власть? Не из честолюбия, насколько я могу заглянуть в себя честно. Скорее из невыносимости. Из ощущения, которое я не умею опровергнуть разумом, но и не могу отбросить: что страдание вокруг достигло черты, за которой молчать — значит соучаствовать. Когда власть демонстративно унижает — женщин, детей, мужчин в расцвете сил, — остаётся, как мне кажется, только два пути: либо подчиниться этому, либо взять власть в свои руки и прекратить. По ощущению. Не по теории. По тому самому внутреннему чутью, которое у Пушкина последних двух лет жизни стало громче любых деклараций.

Я честно говорю: я не уверен, что это чутьё право. Я даже не уверен, что внешняя власть — верный ответ на внутреннюю боль. Именно поэтому я не пишу манифест. Я веду исследование. И первый, к кому я иду за проверкой, — не союзник, а самый суровый мой оппонент.

Глава вторая. Толстой как прокурор. Власть есть насилие

Если я хочу проверить себя, я обязан сначала выслушать того, кто скажет мне «нет» громче всех. Этот голос — Лев Толстой.

Толстой не оставляет мне ни щели для самооправдания. Для него власть — не нейтральный инструмент, который добрый человек употребит во благо, а злой во зло. Власть по самой своей сути есть насилие, и другой она не бывает:

«Власть есть приложение к человеку верёвки, цепи, которой его свяжут и потащат, или кнута, которым его будут сечь, или ножа, топора, которым ему отрубят руки, ноги, нос, уши, голову... И так это было при Нероне и Чингис-хане и так это и теперь, при самом либеральном правлении, в американской и французской республике. [...] Основа власти есть телесное насилие.»
— Л. Н. Толстой, «Царство Божие внутри вас», гл. VII, 1893 (ru.wikisource.org)

Заметим: Толстой не делает исключения для «либерального правления» и «республики». Он бьёт по самой моей надежде — надежде, что есть хорошая власть, мягкая власть, власть-во-благо. Нет, говорит он. Сама природа власти — заставить человека делать не то, что он хочет:

«Власть... есть средство принуждения человека поступать противно своим желаниям. Человек, подчиняющийся власти, действует не так, как он хочет, а так, как его заставляет действовать власть.»

— там же, гл. VII (ru.wikisource.org)

И тут Толстой наносит удар, от которого мне особенно трудно увернуться. Я думаю взять власть, чтобы прекратить страдания. Но страдания, говорит он, и производятся властью — той самой, которую я собираюсь взять:

«Всё устройство нашей жизни зиждется не на каких-либо... юридических началах, а на самом простом, грубом насилии, на убийствах и истязаниях людей.»

— там же, гл. XII (ru.wikisource.org)

Армия, к которой обращаются все правители, по Толстому, нужна не столько против внешнего врага, сколько против собственного народа:

«Войска нужны прежде всего правительствам для обороны себя от своих подавленных и приведённых в рабство подданных.»

— там же, гл. VII (ru.wikisource.org)

И самое страшное для меня место — об опьянении властью. Потому что это уже не о государстве вообще, а обо мне, если я в него войду:

«На этом обмане неравенства людей и вытекающего из него опьянения власти и подострастия и зиждется... способность людей, соединённых в государственное устройство, совершать, не испытывая укоров совести, дела, противные ей.»

— там же, гл. XII (ru.wikisource.org)

Вот мой главный страх, названный чужими словами за сто тридцать лет до меня. Не то, что я не справлюсь с властью. А то, что власть опьянит меня и заглушит укоры совести — и я перестану их слышать, и буду совершать противное совести, не замечая этого. Толстой описал ровно ту гибель, которой я боюсь: потерю самого себя.

Здесь надо быть точным, потому что я обещал точность. Толстого часто записывают в анархисты, и я сам соблазнился этим ярлыком. Но он его отвергал: «Меня причисляют к анархистам, но я не анархист, а христианин. Мой анархизм есть только применение христианства к отношениям людей...» (Дневник, август 1906 г.; ПСС, т. 55, с. 239; цит. по сб. «Анархизм: pro et contra», predanie.ru). Это важно: Толстой не предлагает политическую программу разрушения государства. Он предлагает личный отказ участвовать в насилии. Он нужен мне не как теоретик безвластия, а как совесть, поставленная над любым будущим правителем — чтобы тот не стал тираном прежде всего для самого себя.

И ещё одна честность, которую я себе обещал. Есть мысль, которую я когда-то приписал Толстому:

«Есть несомненное правило, которое мы должны всегда помнить: это то, что если доброе дело не может быть совершено без отступления от добра, то или это дело не доброе, или время этого дела ещё не наступило.»

Я проверил — и не раз. Это не слова Толстого: он лишь включил их в свой сборник «Круг чтения» (запись от 2 сентября), честно поставив рядом имя автора. Но и я сначала ошибся в самой проверке: решил, что это Паскаль. Пришлось сверить по каноническому тексту — и оказалось, что эта мысль принадлежит английскому мыслителю Джеймсу Мартино (Martineau): в «Круге чтения» на 2 сентября собраны афоризмы разных авторов, и именно эту фразу Толстой подписал «Мартино» (ПСС, т. 42, tolstoy.ru). Я мог бы промолчать об обеих ошибках. Но трактат, в котором я требую от себя проверять каждое слово, обязан показать и свои неточности, и путь их исправления. Любое слово нуждается в проверке — и первая проверка тоже. Даже то, что греет душу. Особенно то, что греет душу. И, что характерно, сама мысль — чья бы она ни была — бьёт прямо в мой замысел: если доброе дело — взять власть — не может быть совершено без отступления от добра, то либо это дело не доброе, либо его время ещё не пришло. Я держу это лезвие у горла своего проекта и не отвожу его.

Глава третья. Троглодиты и плачущий старец. Цена короны

Толстой запретил мне власть. Теперь я иду к тому, кто объяснит, почему люди всё равно её просят — и какой ценой.

Монтескьё в «Персидских письмах» рассказывает притчу о троглодитах — она занимает четыре письма, с XI по XIV. Когда-то они жили без власти: маленький народ, спасшийся от собственной жестокости только тем, что уцелевшие семьи научились добродетели и передавали её детям (письма XI–XIII). Они не знали царя — и не нуждались в нём, потому что были справедливы по внутренней склонности. Им внушали с детства,

«что выгода отдельных лиц всегда заключается в выгоде общественной; что желать отрешиться от последней — значит желать собственной гибели; что добродетель не должна быть нам в тягость...»

— Монтескьё, «Персидские письма», письмо XII, пер. Е. А. Гунста (belousenko.com)

А потом народ разросся, добродетель стала утомлять, и троглодиты решили избрать царя — самого справедливого старца среди них (письмо XIV). И вот сердцевина притчи и, может быть, всего моего трактата. Старец, узнав о выборе, не обрадовался. Он заплакал и обратился к народу с речью; вот её ключевые слова:

«...я умру от скорби, ибо при рождении я застал троглодитов свободными, а теперь увижу их порабощёнными.»

— там же, письмо XIV (belousenko.com)

И сказал суровым голосом то, что я обязан перечитывать каждое утро, если когда-нибудь возьму власть (привожу с пропуском нескольких предложений, обозначенным отточием):

«Ваша добродетель начинает тяготить вас. В вашем теперешнем положении вам приходится, не имея вождя, быть добродетельными, хотите вы этого или нет... [...] Но это ярмо кажется вам слишком тяжёлым: вы предпочитаете подчиниться государю и повиноваться его законам, — менее строгим, чем ваши нравы.»
— там же, письмо XIV (belousenko.com)

«Как могу я приказать что-либо троглодиту? Вы хотите, чтобы он совершал добродетельные поступки потому, что я приказал ему их совершать, — ему, который и без меня совершал бы их просто по врождённой склонности?»
— там же, письмо XIV (belousenko.com)

Вот урок, от которого мне холодно: добродетель, принуждаемая властью, перестаёт быть добродетелью. Когда люди просят царя, они просят, в сущности, право больше не быть добрыми по собственной воле — пусть добро обеспечивает закон, а они займутся честолюбием и богатством, лишь бы не доходить до больших преступлений. Старец плачет не потому, что не хочет властвовать. Он плачет потому, что само появление власти есть признак нравственного упадка народа, который её просит.

Я задаю себе беспощадный вопрос. Мои сограждане — где они на этой шкале? Если они добродетельны по внутренней склонности, как уцелевшие троглодиты, — им не нужен я, и взять власть значило бы поработить свободных. Если же они утратили внутреннюю склонность и просят вождя, чтобы он держал их в узде, — то я нужен им именно как замена их собственной совести, то есть как симптом их болезни, а не как лекарство.

В обоих случаях плач старца — обо мне.

Но Монтескьё не только плачет. Он же, единственный из всех моих собеседников, даёт инженерный ответ на мой страх. Исследователи его наследия так формулируют главный вопрос всей его мысли: как сделать так, чтобы правительство не стало деспотическим? (eduscol.education.fr — это аналитический парафраз, а не прямые слова Монтескьё).

И отвечает: деспотия держится на страхе, республика — на добродетели, монархия — на чести.

«Как для республики нужна добродетель, а для монархии честь, так для деспотического правительства нужен страх. В добродетели оно не нуждается, а честь была бы для него опасна. [...] поэтому надо задавить страхом всякое мужество в людях и погасить в них малейшую искру честолюбия.»
— Монтескьё, «О духе законов», III, 9, пер. А. Г. Горнфельда (ru.wikisource.org)

Деспот вынужден гасить в подданных мужество и достоинство — иначе люди, способные ценить себя, его свергнут. А значит, есть точный признак, по которому я смогу проверить себя в любой день у власти: расту ли я страхом или добродетелью? Учужу ли я граждан гнуть шею — или держать голову? Если для удержания власти мне понадобится их страх — я стал деспотом, как бы ни называл себя. Свобода же, по Монтескьё, не произвол, а

«Для гражданина политическая свобода есть душевное спокойствие, основанное на убеждении в своей безопасности.»

— «О духе законов», XI, 6, пер. А. Г. Горнфельда (ru.wikisource.org)

Это и есть мой будущий измеритель. Не лозунги. Безопасен ли человек рядом со мной — или боится меня.

Глава четвёртая. Не оцезариться. Единственный, кто пробовал

Толстой сказал: власть погубит твою совесть. Монтескьё дал прибор, чтобы это заметить. Но был ли хоть один человек, который взял власть и не пропитался ею? Который остался философом на троне?

История знает одного, кого принято считать воплощением платоновского царя-философа, — Марка Аврелия. И он сам, ведя дневник в военных лагерях на Дунае, не для публики, а для себя, записал фразу, которую я беру эпитафией ко всей своей будущей жизни во власти, если она случится:

«Гляди, не оцезарись, не пропитайся порфирой — бывает такое. Береги себя простым, достойным, неиспорченным, строгим, прямым, другом справедливости, благочестивым, доброжелательным, приветливым, крепким на всякое подобающее дело.»

— Марк Аврелий, «Размышления», VI.30, пер. А. К. Гаврилова (ancientrome.ru)

Вот ответ на мой главный страх — потерю себя. Самое поразительное здесь — само слово. В греческом оригинале стоит глагол ἀλοκαίσαρόω («оцезариться»), которого не знал ни один античный автор до Марка: это его собственный неологизм, *hapax legomenon*, слово, рождённое им однажды и больше нигде не встречающееся (Haines, Glossary, en.wikisource.org). Марк не нашёл в языке слова для своего страха — и создал его. А русский переводчик А. К. Гаврилов нашёл этому неологизму точный, столь же небывалый русский эквивалент — «оцезариться», сохранив самую творческую природу оригинала. То есть и сам страх, и слово для него император выковал лично. Он понимал власть как постоянное сопротивление искажению: не как обладание, а как ежедневную борьбу за то, чтобы не «оцезариться». Он знал, что порфира пропитывает человека незаметно, как краска ткань, — «бывает такое».

И он вывел власть из служения, а не из честолюбия:

«...что этим городам на пользу, то мне только и благо.»

— там же, VI.44 (ancientrome.ru)

«Трудись, не жалуйся. И не из желания, чтобы сострадали, изумлялись; одного желай: двигаться и покоиться так, как почитает за достойное гражданственный разум.»

— там же, IX.12 (ancientrome.ru)

Это и есть та самая жертва, о которой я думал: поставить интересы сограждан на время власти выше собственных. Марк сформулировал её спокойнее меня и за восемнадцать

веков до меня.

Корень же его устойчивости — стоический, и он восходит к Эпиктету, которого Марк ещё в молодые годы узнал через своего учителя Юния Рустика (об этом сам Марк благодарно пишет в «Размышлениях», I.7):

«Одни из существующих вещей находятся в нашей власти, другие — не в нашей власти. В нашей власти мнения, стремления, желания, уклонения — одним словом, всё, что является нашим. Вне пределов нашей власти — наше тело, имущество, доброе имя, государственная карьера...»
— Эпиктет, «Энхиридион», I.1 (vikent.ru)

Президентство — это «государственная карьера», «доброе имя», то, что не в моей власти и может быть отнято. А вот «не оцезариться» — в моей. Стоик свободен не потому, что ему ничто не угрожает, а потому, что его сердцевина неприкосновенна для внешнего. Как сказал Сенека: «Нет рабства позорнее добровольного» («Нравственные письма к Луцилию», письмо 47, §17 — ancientrome.ru). Президент, гнущий совесть ради удержания кресла, — раб добровольный, и хуже узника.

Здесь я обязан остановиться и не солгать себе красивым примером. Марк Аврелий — не икона. Честная история его правления тяжелее легенды. Из девятнадцати лет на престоле (161–180) Рим почти не знал мира: большую часть он провёл в войнах — Парфянской и затем долгих Маркоманских. А его смерть в 180 году историки прямо называют рубежом, на котором завершился Pax Romana и начался долгий путь империи к нестабильности (сам кризис III века разворачивается позже, с 235 года) (Oxford Academic). При нём ужесточилось преследование христиан — Лионский погром 177 года; православная традиция фиксирует, что «государство теперь было в большей степени склонно поощрять ненависть к христианам» (pravenc.ru). Правда, степень личной ответственности самого Марка за эти гонения историки оспаривают: многие считают погромы локальными, инициированными местными властями, а не императорскими указами. И, может быть, самое горькое: философ, всю жизнь искавший лучшего, оставил наследником родного сына Коммода — тирана и позёра, антипода отца, прервав почти вековую традицию усыновления достойнейшего.

Что это значит для меня? Что даже лучший из царей-философов не сделал своё правление «процветающим». Что философия на троне смягчает правителя, но не отменяет природу власти — войны, кровь, наследование. Платон мечтал:

«Пока в государствах не будут царствовать философы... до тех пор... государствам не избавиться от зол.»
— Платон, «Государство», 473c–d, пер. А. Н. Егунова (ru.citaty.net)

Но единственный приближённый к идеалу опыт показал: философ во власти спасает прежде всего собственную душу — «не оцезаривается», — а зол государства не избавляет. Это скромный, но честный итог. Власть философа лучше власти тирана не результатами, а тем, что философ остаётся человеком. Может быть, этого мало для спасения народа. Но это не ничто. И, возможно, это всё, на что вообще можно надеяться, входя в порфиру.

Глава пятая. Ремарк, или Что власть делает с маленьким человеком

До сих пор я смотрел на власть сверху — глазами тех, кто её держал или осмыслял. Ремарк разворачивает оптику. Он смотрит снизу — глазами тех, по кому власть проезжает, как каток. И этот взгляд мне нужнее всего, потому что я думаю взять власть ради тех, кто внизу, — а значит, обязан знать, как это для них выглядит.

Четыре его романа — четыре разных высоты падения.

В «Чёрном обелиске» он показывает, как рождается «сильная рука»: в нищете, в инфляции, в усталости. И как патриотизм становится прикрытием для жажды власти:

«Говорилось: отечество, а в виду имелись захватнические планы алчной индустрии; говорилось: честь, а в виду имелась жажда власти... Слово „патриотизм“ они начинили своим фразёрством, жаждой славы, властолюбием... а нам преподнесли его как лучезарный идеал.»
— Э. М. Ремарк, «Чёрный обелиск», 1956 (litres.ru)

Это та же мысль, что у Толстого о патриотизме как орудии правителей, только данная изнутри обманутого. И тут же — формула, перед которой обязан замереть всякий, кто берёт власть «ради народа»:

«...смерть одного человека — это смерть, а смерть двух миллионов — только статистика.»
— там же (en.wikiquote.org)

Это — слова рассказчика Людвиг, внутренний монолог, а не авторская декларация. И важно знать: мысль не вполне оригинальна — Ремарк, по всей видимости, развил образ из эссе немецкого публициста Курта Тухольского (1925), где сказано: «Смерть одного человека — это катастрофа. Сто тысяч мертвецов — это статистика». (Часто эту фразу приписывают Сталину, но это апокриф, документально не подтверждённый.) Атрибуция её роману Ремарка верна, происхождение самой мысли — старше. И всё равно: если я когда-нибудь поймаю себя на том, что считаю людей миллионами, а не по одному, — я уже оцезарился.

В «Триумфальной арке» Ремарк ставит диагноз самой власти:

«Власть — самая заразная болезнь на свете, и сильнее всего уродующая людей.»
— Э. М. Ремарк, «Триумфальная арка», 1945 (mybook.ru)

И показывает, как чиновник прячет свою бесчеловечность за необходимостью:

«Всегда найдётся ширма, за которую можно спрятаться... предписания, указания, распоряжения, приказы и, наконец, многоголовая гидра Мораль — Необходимость — Суровая действительность — Ответственность... чтобы обойти самые простые законы человечности.»
— там же (epwr.ru)

Вот ловушка, в которую я могу попасть первой: «суровая необходимость», «ответственность государственного человека» — это и есть та ширма, за которой я

перестану слышать совесть, прикрываясь высокими словами. Та же ширма, что и «опьянение власти» у Толстого, только названная по-канцелярски.

В «Искре жизни» — о власти без контроля, и это прямо про мой страх:

«На воле он, наверное, ни за что не убил бы человека. А здесь это делает, потому что у него есть власть... Власть и никакой ответственности — чересчур много власти в чьих-то руках, понимаешь.»

— Э. М. Ремарк, «Искра жизни», 1952 (bbf-journal.ru)

Ремарк говорит о конкретном лагерном надзирателе — «чересчур много власти в чьих-то руках». Но я обязан додумать это до общего правила, и тут уже моя мысль, не цитата: слишком много власти — в любых руках. Даже в моих. Особенно в моих. Ремарк не верит в добрые руки. Он верит в контроль и в предел власти — ровно то, что Монтескьё назвал разделением и сдерживанием.

Но Ремарк же даёт и единственное утешение — то, ради чего, может быть, и стоит всё затевать. В той же «Искре жизни» о людях, которых государство пыталось стереть в концлагере:

«Нас унижали, да, но мы не унижённые. Унижённые — другие, те, кто надругался над нами.»

— там же (city.info)

Вот черта, которую власть не может перейти, если человек её сам не сдаёт. И вот, наконец, оправдание самой возможности достоинства под любым гнётом — то, к чему я ещё вернусь, говоря о семье и государстве: человеческое сохраняется в пространстве между людьми, а не в государственных структурах. «Время жить и время умирать» договаривает мысль до конца — о том, кто продолжает войну и зачем:

«...мы продолжаем воевать лишь затем, чтобы правительство, партия и люди, которые всё это затеяли, ещё некоторое время оставались у власти и могли натворить ещё больше бед.»

— Э. М. Ремарк, «Время жить и время умирать», 1954 (youtube.com)

Ремарк — мой свидетель обвинения против власти как таковой. И одновременно — свидетель того, что человеческое достоинство первичнее любой власти. Оба показания истинны. Я не выбираю между ними.

Глава шестая. Пушкин последних двух лет. Две свободы

Я сказал в начале, что иду по Пушкину — но не по тому, которого учат в школе. Пушкин последних двух лет жизни — не автор «Руслана и Людмилы». Это человек, зажатый между двором и собственной совестью.

Факты, а не легенда. 31 декабря 1833 года Николай I пожаловал тридцатичетырёхлетнему Пушкину звание камер-юнкера — низшее придворное звание, какое по статистике той эпохи давали обычно молодым людям двадцати — двадцати пяти лет (сам Пушкин сердито назвал своих новых «товарищей» в дневнике «молокососами 18-тилетними»).

Поэт записал, что это «(что довольно неприлично моим летам)» (rvb.ru). Царь был его личным цензором — формально милость, на деле удавка: поэт был изъят из общей цензуры и подчинён лично государю, что делало его зависимее прочих (biography.wikireading.ru). За десять лет (1826–1836) он написал шефу жандармов Бенкендорфу около пятидесяти писем (академический счёт — 54, по другим подсчётам, с учётом черновиков, до 58) (litved.com). Просил отпустить в деревню — отказ. Просил отставки — отказ. Жуковский потом, по свидетельству А. И. Тургенева (дневник, 8 марта 1837 г.), скажет, что «Пушкин погиб оттого, что его не пустили ни в чужие края, ни в деревню» (as-pushkin.net).

И вот этот человек — раздавленный мелкой, унижительной несвободой, — пишет в 1836 году «(Из Пиндемонти)», своё философское завещание о свободе. Он проводит черту между двумя свободами. От первой — публичной, политической — он демонстративно отказывается:

«Не дорого ценю я громкие права, / От коих не одна кружится голова. / Я не ропщу о том, что отказали боги / Мне в сладкой участи оспоривать налоги / Или мешать царям друг с другом воевать... / Всё это, видите ль, слова, слова, слова.»

— А. С. Пушкин, «(Из Пиндемонти)», 1836 (ilibrary.ru)

(Последняя строка — пушкинская переключка с «Гамлетом»: «Words, words, words»; в академическом тексте она дана как обособленная реплика-цитата.)

А вторую — личную, внутреннюю — ставит выше всего:

«Иные, лучшие, мне дороги права; / Иная, лучшая, потребна мне свобода: / Зависеть от царя, зависеть от народа — / Не всё ли нам равно? Бог с ними.»

— там же (ilibrary.ru)

Вот формула, которая разрывает меня надвое. «Зависеть от царя, зависеть от народа — не всё ли нам равно?» Если это правда — то и президентство, зависимость от народа, столь же несвободно, как придворная ливрея. Власть не освобождает. Власть привязывает к тем, над кем она. Президент зависит от граждан так же, как камер-юнкер от государя.

И тот же Пушкин, в том же 1836-м, в стихотворении «Мирская власть» обнажает главную ложь власти — её претензию на святость. По свидетельству Вяземского, стихотворение написано потому, что в Страстную пятницу в Казанском соборе у плащаницы поставили солдат в караул; Пушкин написал:

«К чему, скажите мне, хранительная стража? / Или распятие казённая поклажа, / И вы боитесь воров или мышей?...»

— А. С. Пушкин, «Мирская власть», 1836 (ilibrary.ru)

Власть присвоила себе даже Христа, поставила часовых у Бога. Это и есть приговор всякой власти, которая называет себя священной. Я обязан помнить его, если когда-нибудь моё имя начнут произносить торжественно.

И всё же — Пушкин не сбежал в чистое самоустранение. В «Памятнике» того же года он называет ценность, ради которой стоило терпеть «жестокий век»:

«И долго буду тем любезен я народу, / Что чувства добрые я лирой пробуждал, /
Что в мой жестокой век восславил я Свободу / И милость к падшим призывал.»
— А. С. Пушкин, «Я памятник себе воздвиг нерукотворный...», 1836 (ru.wikisource.org)

(Форма «жестокой» — не опечатка: это краткая форма прилагательного, принятая в академическом тексте ПСС.)

«Милость к падшим призывал» — это та же толстовская мысль из письма Александру III. Толстой умолял царя помиловать убийц Александра II: «...отдали бы им добро за зло [...] всякий шаг к наказанию есть шаг к злу» (две фразы стоят в разных местах письма, я свожу их через отточие) (rvb.ru). Два самых разных русских гения сошлись в одном: настоящая сила власти — в милости, а не в каре.

Вот мой Пушкин. Он научил меня, что есть свобода, которую никакая власть — ни взятая, ни отданная — не прибавит и не отнимет. И что даже в «жестокий век», даже из-под ливреи, можно восславить свободу и призвать милость к падшим. Может быть, это и есть единственная свобода, ради которой стоит думать о власти: свобода призвать милость с такого места, откуда её услышат.

Глава седьмая. Два голоса во мне

Я обещал не заглаживать противоречия. Вот самое личное из них.

В моих текстах живут два голоса. Один — спокойный, рассуждающий, ищущий понимания; голос человека, который верит, что троглодитов можно понять и что не всякий нуждается в вожде. Другой — голос ультиматума, голос, обращённый к тем, кого я называю злодеями, голос, ставящий выбор и зовущий не подчиняться неправде. Оба — в одних и тех же руках, в одном и том же сердце.

Соблазн — объявить один из них настоящим, а другой случайным. Сказать: вот подлинный я, спокойный мыслитель, а ультиматум — срыв, который надо вычеркнуть. Или наоборот: вот подлинный я, воин правды, а спокойствие — слабость.

Я не сделаю ни того, ни другого. Оба голоса настоящие. Это и есть я.

Толстой не дал бы мне права на второй голос. Для него закон любви не допускает исключений:

«Учение Христа в его истинном смысле состоит в признании любви высшим законом жизни, и потому не могущим допускать никаких исключений.
Христианство... допускающее исключения в виде насилия во имя других законов, есть такое же внутреннее противоречие, как холодный огонь или горячий лёд.»
— Л. Н. Толстой, «Закон насилия и закон любви», 1908 (litres.ru)

По Толстому, мой голос ультиматума — холодный огонь. Противоречие в самом основании. И я не могу его опровергнуть логически. Я могу лишь честно сказать, что не достиг толстовской высоты непротивления и, может быть, никогда не достигну. Что во мне есть предел терпения, за которым я перестаяю подставлять щёку. Толстой назвал бы это моей слабостью. Я не спорю. Я лишь не притворяюсь, что её нет.

Но вот что я вправе сделать — поставить эти два голоса под общий надзор. Под надзор того самого «не оцезариться». Спокойный голос охраняет меня от того, чтобы ультиматум стал привычкой, опьянением, властью ради власти. Ультиматум охраняет спокойный голос от того, чтобы понимание выродилось в соучастие, в «всё сложно» там, где на самом деле просто подло. Они нужны друг другу как противовес. Беда не в том, что во мне два голоса. Беда была бы, если бы остался один — и заглушил совесть другого.

Здесь проходит та красная черта, о которой меня правильно было бы спросить. Когда голос ультиматума получает право звучать? Не «во имя» — у меня нет идеологии, ради которой я готов отнимать свободу. Скорее по внутреннему чутью: когда страдание невыносимо, когда власть демонстративно унижает беззащитных, когда остаётся либо подчиниться унижению, либо прекратить его. Это пушкинское «чутьё», а не толстовский закон. И я обязан честно признать: чутьё может ошибаться. Именно поэтому над ним — спокойный голос и выверенный факт. Чутьё зовёт, разум проверяет, совесть судит. Ни одно из трёх не правит единолично.

Глава восьмая. Семья, спроецированная на государство

Зачем вообще внешняя власть, если вся правда — внутри? Если свобода, по Пушкину, не зависит ни от царя, ни от народа, если достоинство, по Ремарку, неуязвимо для гнёта, — зачем мне президентство?

Я отвечаю так, как чувствую, не выдавая чувство за доказанную истину.

Президентство даёт намерению — выражение в действии. Мужчине — чувство собственного достоинства. Женщине — защиту, если рядом достойный мужчина. Я вижу это как семью, спроецированную на государство. Если во главе семьи тиран — несчастны все: он превращает близких в подданных, любовь в страх, дом в казарму. Если во главе семьи достойный человек — он не отнимает свободу домашних, он создаёт пространство, в котором они свободны. Власть в доме оправдана не правом приказывать, а способностью защитить.

Я не знаю точно, верна ли эта проекция. Это лишь мои представления, и я начал весь этот разговор именно потому, что не уверен. Но я проверяю её моими собеседниками — и она выдерживает не всё.

Монтескьё поддержал бы половину: свобода как «душевное спокойствие, основанное на убеждении в своей безопасности» — это и есть хорошая семья, где никто не боится главы. Марк Аврелий поддержал бы целиком: власть как служение, «что городам на пользу, то мне только и благо». Ремарк дал бы мне «Искру жизни»: человеческое сохраняется между людьми, и достойный глава хранит именно это.

А Толстой возразил бы жёстко — и я обязан привести его возражение, а не спрятать. Для него семья, построенная на власти, уже заражена: «основа власти есть телесное насилие», и проекция насилия на дом не делает его теплее. Толстой сказал бы, что хорош тот дом, где нет власти вовсе, где все добры по внутренней склонности, как уцелевшие троглодиты Монтескьё. И тут я снова утыкаюсь в плач старца: если моим близким — моим согражданам — нужен глава, чтобы быть в порядке, то это симптом, а не здоровье.

Идеал — дом, где я как глава не нужен. Власть оправдана лишь как временное лекарство для больного дома и должна стремиться к собственной ненужности.

Это смиряет мой замысел. Хороший президент, как хороший отец, работает над тем, чтобы стать ненужным. Цель власти — вырастить свободных, а не удержать зависимых. Тиран растит зависимость; достойный растит свободу и уходит. Толстой об этом и писал: «Государственная форма есть временная, но никак не постоянная форма жизни человечества» («Закон насилия и закон любви», 1908 — litres.ru).

Глава девятая. Фон. Время, в которое я думаю об этом

Я думаю обо всём этом не в безвоздушном пространстве. За окном — конкретный год, и я обязан назвать его честно, как фон, а не как повод.

Идёт пятый год войны России и Украины; к лету 2026-го линия фронта застыла в том, что независимые аналитики называют стратегическим тупиком при тактической динамике — ни прорыва, ни мира ([ISW, 18 июня 2026](#)). В январе–феврале 2026 года прошли три раунда трёхсторонних переговоров (Абу-Даби, Женева) при посредничестве США; к лету процесс зашёл в тупик — камни преткновения прежние: территориальный статус оккупированных регионов и гарантии безопасности для Украины ([Reuters / Ground News, 2 июня 2026](#)). Внутри страны пространство для несистемной оппозиции де-факто ликвидировано законами о «дискредитации армии» ([ВТ1 2026](#)); по данным правозащитников, счёт политически преследуемых идёт на тысячи — более 2 000 по подсчёту OVD-Info, свыше 1 200 по данным Human Rights Watch ([Le Monde, 3 июня 2026](#)). На 20 сентября 2026 года назначены выборы в Госдуму (указ подписан 16 июня 2026; трёхдневное голосование 18–20 сентября) — первые с начала вторжения, при отстранённой оппозиции и гарантированном большинстве партии власти ([ТАСС, 16 июня 2026](#)). Государство тратит десятки миллиардов рублей на патриотическое воспитание, концерты и фестивали: только на федеральный проект «Мы вместе» в 2026 году выделено 70 млрд рублей — рост в 20 раз по сравнению с 2021-м («Новая газета», 4 июня 2026) — ровно та машина разжигания, которую Толстой описал в «Патриотизме и правительстве»:

«[...] В школах они разжигают в детях патриотизм... во взрослых разжигают это же чувство зрелищами, торжествами, памятниками, патриотической лживой прессой.»

— Л. Н. Толстой, «Патриотизм и правительство», 1900 (ru.anarchistlibraries.net)

Я не пишу это, чтобы вынести приговор. Я пишу это, чтобы понять, в каком воздухе рождается мой вопрос. И воздух этот объясняет, откуда во мне «чутьё», о котором я говорил: ощущение демонстративного унижения незащитных, перед которым молчание становится соучастием. Толстой назвал бы происходящее именно так, как назвал в «Не могу молчать»: «всю губительность деспотизма для душ человеческих, власти одних людей над другими» (ru.wikisource.org).

Но тот же фон — и предостережение мне. Всякая власть, начавшаяся с благого «прекратить страдания», имеет привычку продолжать себя ради себя — Ремарк сказал об

этом всё: воюют, «чтобы правительство... ещё некоторое время оставалось у власти». Я вижу в реальном времени, как это работает. И если я когда-нибудь возьму власть, я буду стоять перед тем же искушением, перед которым стоит всякий: остаться. Объявить, что страдание ещё не кончилось, что враг ещё не повержен, что рано уходить. Плач старца, опьянение Толстого, болезнь Ремарка, порфира Марка — всё это не про «них». Это про меня, если я войду туда.

Глава десятая. Быть или не быть — честный ответ без вранья

Я обещал ответ, который важен не точностью, а честностью. Не «да» и не «нет», выданное за окончательную истину, а взгляд глубокий и, может быть, противоречивый — но без лжи самому себе. Вот он.

Сначала — за «не быть».

Толстой прав в главном: власть есть насилие, и взять её — значит войти в насилие, как бы я ни называл свои намерения. Монтескьё прав: само то, что людям нужен вождь, — признак упадка, и старец плачет не зря. Ремарк прав: власть — заразная болезнь, и нет «добрых рук», есть только контроль и предел. Пушкин прав: власть не прибавит мне свободы, а привяжет; зависеть от народа не свободнее, чем от царя. И Мартино, через Толстого, прав острее всех: если доброе дело нельзя совершить без отступления от добра, то либо оно не доброе, либо его время не пришло.

Честный вывод этой стороны: писатель, поэт и философ во мне правы, когда сопротивляются. Их сопротивление — не трусость, а верный инстинкт. Самый чистый путь — путь Толстого: не участвовать в насилии, обличать обман, восславлять свободу и призывать милость к падшим словом, с того места, где я стою, — со страницы, не с трона.

Теперь — за «быть».

И всё же есть Марк Аврелий — единственный, кто доказал собственной жизнью, что во власть можно войти и не пропитаться ею, если каждый день вести борьбу за то, чтобы «не оцезариться». Есть Пушкин «Памятника»: даже из-под ливреи, в жестокий век, можно восславить свободу и призвать милость к падшим — а с места власти этот призыв услышат громче. Есть Ремарк «Искры жизни»: бывает страдание, перед которым молчать стыдно, и достоинство тех, кого унижают, требует, чтобы кто-то встал. Есть моё чутьё, которому я не верю до конца, но и не вправе отбросить: что страдание надо прекратить, и что между «подчиниться унижению» и «взять власть и прекратить» я не выбираю подчинение.

Честный вывод этой стороны: «быть» оправдано не честолюбием и не верой в то, что я устрою рай. Оно оправдано только как служение и только при условии, что я ни на день не забуду — власть это лекарство, а не пища; она должна стремиться к собственной ненужности; и я обязан уйти раньше, чем привыкну.

И вот ответ, который я могу дать, не солгав.

Вопрос «быть мне президентом или не быть» — неправильный вопрос. Я понял это, пройдя через всех своих собеседников. Настоящий вопрос — третий, и он в самой заглавии, в его последней части: и если быть, то каким.

Потому что «быть президентом» и «остаться собой» — не обязательно враги, но и не друзья по умолчанию. Между ними — ежедневная борьба, которую Марк назвал «не оцезариться». Я могу взять власть и потерять себя — тогда лучше не брать. Я могу взять власть и каждый день сопротивляться её яду — и тогда, может быть, «быть» окажется не предательством писателя, поэта и философа во мне, а самым трудным их продолжением.

Что мне изменить внутри себя, чтобы помирить их с необходимостью забрать у сограждан часть свободы? Не убить ни одного из них. Не сделать поэта циником, философа — функционером, писателя — пропагандистом. А поставить их троих стражами над четвёртым — над тем, кто будет принимать решения. Поэт будет следить, чтобы я считал людей по одному, а не миллионами. Философ — чтобы я каждое утро спрашивал, не оцезарился ли я, расту ли я в гражданах страх или достоинство. Писатель — чтобы я не врал, прежде всего себе. А решающий во мне пусть берёт ровно столько свободы сограждан, сколько нужно, чтобы защитить беззащитных, — и ни граммом больше, и ни днём дольше необходимого.

Это и есть та внутренняя перемена. Не отказ от себя ради власти. И не отказ от власти ради себя. А подчинение власти — себе: своему поэту, философу, писателю и совести. Президент, которым стоит быть, — это тот, над кем стоит непокорный внутренний человек, не дающий ему стать Цезарем.

Останусь ли я собой? Не знаю наверняка — и тот, кто уверен в этом заранее, уже проиграл. Знаю одно: я останусь собой ровно до тех пор, пока веду эту борьбу, и перестану в тот день, когда решу, что победил и можно больше не сторожить.

«Гляди, не оцезарись, не пропитайся порфирой — бывает такое.»
— Марк Аврелий, VI.30.

Эпилог. Лампа погасла, рассвело

Лампа на столе погасла сама — рассвело. Я не получил окончательного ответа, и хорошо, что не получил: окончательный ответ был бы первым признаком того, что я уже начал «оцезариваться», уверившись в собственной правоте.

Я уношу из этой ночи не решение, а измеритель. Несколько проверок, которые останутся со мной, возьму я власть или нет:

Считаю ли я людей по одному — или миллионами. Растёт ли рядом со мной безопасность — или страх. Учю ли я держать голову — или гнуть шею. Слышу ли ещё оба голоса — или один заглушил другой. Стремлюсь ли стать ненужным — или удержаться. И сторожу ли я ещё себя — или уже уверен, что мне можно не сторожить.

Пока я задаю себе эти вопросы — я остаюсь собой. Писатель, поэт и философ во мне примирятся с необходимостью забрать часть чужой свободы только при одном условии: если эта свобода будет взята взаймы, под залог моей собственной несвободы — несвободы лгать, несвободы привыкнуть, несвободы остаться. И возвращена при первой возможности.

Быть или не быть — решит чутьё, проверенное разумом и судимое совестью. Но каким быть — я уже знаю. Таким, над кем всегда стоит непокорный человек с непогасшей лампой, даже когда рассвело.

Источники

Все цитаты в этом трактате выверены по первоисточникам, постранично сверены и при сокращении помечены отточием. Ключевые ссылки:

- **Монтескьё.** «Персидские письма» (письма XI–XIV о троглодитах; цитаты — письма XII и XIV, пер. Е. А. Гунста): belousenko.com. «О духе законов», III.9 и XI.6 (пер. А. Г. Горнфельда): ru.wikisource.org, [кн. третья](#), [кн. одиннадцатая](#); аналитический вопрос «как сделать, чтобы правительство не стало деспотическим» — парафраз: eduscol.education.fr
- **Л. Н. Толстой.** «Царство Божие внутри вас» (гл. VII, XII): ru.wikisource.org; «Патриотизм и правительство» (1900): ru.anarchistlibraries.net; «Закон насилия и закон любви» (1908): litres.ru; «Не могу молчать» (1908): ru.wikisource.org; письмо Александру III (1881): rvb.ru, т. 18; об анархизме (Дневник, авг. 1906, ПСС т. 55, с. 239): predanie.ru; «Круг чтения», запись 2 сентября (мысль Дж. Мартино): ПСС, т. 42, tolstoy.ru
- **Античность.** Марк Аврелий, «Размышления» VI.30, VI.44, IX.12, I.7 (пер. А. К. Гаврилова): ancientrome.ru; о неологизме ἀλοκαισαρώω: Haines, Glossary, en.wikisource.org. Платон, «Государство» 473c–d (пер. А. Н. Егунова): ru.citaty.net. Эпиктет, «Энхиридион» I.1: vikent.ru. Сенека, «Нравственные письма к Луцилию», письмо 47, §17: ancientrome.ru. Контекст правления Марка: Oxford Academic, pravenc.ru
- **Э. М. Ремарк.** «Чёрный обелиск» (1956): litres.ru, en.wikiquote.org (о происхождении мысли «смерть/статистика» от К. Тухольского, 1925: falschzitate.blogspot.com); «Триумфальная арка» (1945): mybook.ru, erwv.ru; «Искра жизни» (1952): bbf-journal.ru, citaty.info; «Время жить и время умирать» (1954): youtube.com
- **А. С. Пушкин (1836).** «(Из Пиндемонти)»: ilibrary.ru; «Мирская власть»: ilibrary.ru; «Я памятник себе воздвиг...»: ru.wikisource.org. Биографический контекст: дневник (камер-юнкер, 1834) — rvb.ru; личная цензура — biography.wikireading.ru; письма Бенкендорфу — litved.com; слова Жуковского (по свид. А. И. Тургенева) — as-pushkin.net
- **Фон 2026.** ISW, 18 июня 2026; переговоры — Ground News / Reuters, 2 июня 2026; ВТИ 2026; политзаключённые — Le Monde, 3 июня 2026; выборы 20 сентября 2026 — ТАСС, 16 июня 2026; расходы на «патриотическое воспитание» — «Новая газета», 4 июня 2026

Трактат подготовлен как исследование для блога слово-президента.рф. ИИИ использован для обобщения и проверки источников; авторская мысль, чувство и ответственность принадлежат автору.